

## КУМИР

Интересный разговор произошел однажды между Солженицыным и Варламом Шаламовым. Они познакомились в редакции журнала «Новый мир», где была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», имя Солженицына гремело, слава его была еще не всемирной, но уже всесоюзной, да и высшей властью он в ту пору был пригрет, выдвинут на Ленинскую премию, от которой, ненавидя Ленина, отказаться не стремился. И вот ему-то Шаламов отдал свои рассказы для передачи Твардовскому. В сущности повторил то, что до него сделал сам Солженицын. Ведь в «Новый мир» повесть «Один день Ивана Денисовича» не Солженицын принес, ему помогли. Был разработан план: по договоренности с Копелевым, с которым он вместе сидел в шарашке, повесть отнесла жена Копелева Раиса Орлова и доверительно передала своей близкой знакомой Асе Берзер. Анна Соломоновна Берзер не занимала большого положения в редакции, но Твардовский доверял ей. И вот, минуя отдел прозы, минуя Дементьева, первого заместителя главного редактора, который наверняка стал бы на пути рукописи (он еще будет отговаривать Твардовского печатать ее), Ася Берзер, прочтя, отдала повесть из рук в руки Твардовскому. Таким образом достигались две цели сразу: рукопись без задержки попадала к тому, кто решал, а на случай, если бы вдруг дозналось КГБ, Солженицыну оставляли возможность отпереться: ничего, мол, я в редакцию не относил, ничего не видел, не слышал, ничего не знаю. Лагерный опыт: в повести «Один день Ивана Денисовича» рассказано, как ээки воруют на стройке рулон толя, чтобы заслонить от ветра проем окна: хватится охрана, мы ничего не знаем, *так было*. Вот и Шаламов, обратился к недавнему сидельцу, к собрату: дело — то общее рассказать миру о сталинских лагерях. Он только не догадывался в простоте душевной, что Солженицыну совершенно не требовалось, чтобы в сильном прожекторном свете славы, уже направленном на него и только на него, появился еще чей-то силуэт, пусть не рядом, пусть в отсвете, сбоку где-то, но — мученик, отсидевший 19 лет в самых страшных лагерях и в ссылке, да еще талантливо об этом написавший.

Вот разговор, записанный Шаламовым, теперь это вместе с не отправленным письмом к Солженицыну опубликовано в книге «Воспоминания» (издательство АСТ, Москва, 2003 г.):

«Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет [этого], потому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой — атеист или просто скептик или сомневающийся.

— А Джефферсон, автор Декларации?

— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло (каково Шаламову было слышать это оскорбительное: не прочел, а *просмотрел бегло*) несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим». *Прервемся*. Кант писал: «Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем вовлекать надежду на него ни в какие свои дела». *Продолжим*. «Небольшие пальчики моего нового знакомого, — пишет Шаламов, — быстро перебирали машинописные страницы.

— Я даже удивлен, как это Вы... И не верить в Бога.

— У меня нет потребности в такой гопотезе, как у Вольтера.

— Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.

— Тем более.

— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на За-

паде». Потом они познакомились ближе, Солженицын даже пригласил Шаламова к себе в гости, в Солотчу, и оттуда, послушав и увидев его близко, Шаламов бежал на второй день, до завтрака, тайком. В дальнейшем, в тетради 1971 года Шаламов записывает: «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная на узко личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности». Возможно в этих резких определениях есть доля личного. Но поразительна по прозрению и глубине мысль в не отправленном письме Солженицыну, выделю ее: *«Я знаю точно — Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — ее орудие»*. Книги Шаламова, его потрясающие «Колымские рассказы», разумеется, изданы в Америке, рекомендации не потребовалось.

А вот о том, что писатель должен говорить языком большой христианской культуры, говорить и соответственно поступать. Кто из писателей не получал писем и от читателей, и из библиотек с просьбой прислать свою книгу? Не припомню, чтобы кто-либо оповещал об этом народ. Но вот передо мной газета «Труд», на первой полосе — портрет Солженицына, не нынешний, а молодежавый, улыбающийся, тут же — текст письма учительницы сельской школы: она с величайшим почтением просит прислать одну из его книг, чтобы дети могли писать по ней сочинение. И — ответ Солженицына: посылает им экземпляр «Как нам обустроить Россию», поскольку все остальные книги он уже, мол, разослал по многочисленным просьбам. Писала учительница, разумеется, не в газету, ему лично, кроме него и близких никто знать об этом не мог, и вот это превратили в саморекламу, снабдив портретом. А ведь по библейским заповедям, по христианской морали если творишь добро, даже левая твоя рука не должна знать, что делает правая.

Восьмидесятипятилетие Солженицына отмечали широко, обходя по возможности последний его двухтомник «Двести лет вместе», как обходят на дороге то, во что лучше не вляпаться. Был срочно снят новый телефильм о юбиларе, газеты, радио... По телевидению поздравлял его и желал долголетия Проханов, редактор одной из самых мракобесных газет, деятель нынешней компартии, летавший недавно в Лондон налаживать финансовые связи компартии с беглым олигархом Березовским. Ну не чудеса ли: поздравляет один из лидеров компартии. Так что же было раньше, свой своего не познаша? В письме к вождям Советского Союза, Солженицын требовал сбросить кровавую рубаху идеологии, но на тоталитарную власть в общем-то не посягал. В «Известиях» — множество фотографий юбилара, и — установочная статья, в которой сравнивают его с Львом Толстым, но на этот раз — не с художником, а с поздним Толстым, с проповедником, и в подтверждение вот такая любопытная подробность: «...говоришь — Толстой, и тут же понятно, от какой печки дальше плясать, в какую сторону двигаться, какой масштаб на карте задавать. То же и Солженицын. Недаром в свое время премьер Израиля Шимон Перес по приезду в Москву посетил первым делом два «объекта»: Дом-музей Толстого и Александра Солженицына. А после этого двинул на переговоры к Путину». Прочел я это и посмеялся в душе. Как раз перед приездом Шимона Переса в Москву позвонили мне из нашего министерства культуры и сообщили, что он (а был тогда Шимон Перес, к слову сказать, не премьером, а министром иностранных дел) хотел бы со мной встретиться. Мы одного возраста, но не знакомы и даже общих знакомых у нас, насколько я знаю, нет, почему он пожелал встретиться, не знаю. Но я лежал в больницу и от встречи вынужден был отказаться. Не могу сказать, было ли с самого начала запланировано три «объекта» или два, а один из них по ходу дела пришлось сменить, не знаю. Ну, а если бы Шимон Перес после Дома-музея Толстого посетил меня — «Недаром!» — это что поставило бы меня на одну доску с Львом Толстым? Даже заблуждения Толстого были заблуждениями гения, они пронизаны болью и покаянием, а тот, кого пытаются равнять с ним, занят самоутверждением и сводит, сводит счеты с теми, кто когда-то помогал ему и даже жизнь за него положил, как тот несчастный Вадим Борисов, который бросил свое дело, пошел целиком в услужение Солженицыну, публиковал его книги в первые годы перестройки, а потом потребовали от него строгой бухгалтерской отчетности, которой и быть в те годы не могло, и обвинили его в мошенничестве, и он вскоре умер. Но и мертвого, не способного себя защитить, чтоб и на его детей пал позор, Солженицын припечатал словом в своем ныне публикуемом «Зернышке», которое никак не затерялось «меж двух жерновов», а наоборот, эти жернова отлично сумело

использовать: «Ошибку — можно простить и миллионную. Обмана — нельзя перенести и копеечного».

В прессе писали, что в ходе встречи Солженицын сообщил Пересу, что как раз закончил «Двести лет вместе», и первый том уже выходит или вышел в свет. Я читал эту книгу в больнице, времени было много, читал с карандашом, не спеша. Солженицын не любит евреев. Это его право, за это нельзя осуждать. Даже если ненавидит, даже если эта ненависть зоологического свойства. Ну и носи ее, как камень в душе. Но слово и сказанное и написанное есть дело, в начале всех дел и дел кровавых было Слово.

В дальнейшем, когда выйдет и второй том, появится статья, недопустимая по тону, но верная по существу, эпиграфом к ней взяты слова Фейхтвангера: «Не каждый подлец — антисемит. Но каждый антисемит — подлец». Это так же верно, как то, что каждый русофоб — подлец. И подлец каждый, кто ненавидит татар потому, что они — татары. А если есть отличие, так в том, что евреев преследуют уже две тысячи лет. Их проклинали и в католических храмах и в церквях, насильственно обращали в христианство, а у тех, кто вернулся к своей вере, отбирали детей. В статье «Христианство и антисемитизм» Николай Бердяев писал: «Еврейский вопрос есть испытание христианской совести и христианской духовной силы. В мире всегда были и сейчас есть две расы, и это деление рас важнее всех остальных делений. Есть распинающие и распинаемые, угнетающие и угнетенные, ненавидящие и ненавидимые, причиняющие страдание и страдающие, гонители и гонимые. Не требует объяснений, на чьей стороне должны быть настоящие христиане». Католическая церковь давно уже принесла извинения за все гонения и зверства, которые она творила на протяжении веков, сняла с евреев навет. И польский президент Квасневский извинился перед евреями за трагедию в Едвабне. Напомню: в Польше, в 150 километрах от Варшавы, в населенном пункте Едвабне 10-го июля 1941 года, когда Польша была оккупирована немцами и немецкие войска уже подходили к Смоленску, поляки топорами и косами загнали своих соседей евреев в овин, заложили выход и подожгли. Сгорело 1600 человек: дети, женщины, старики. Дома сожженных, их имущество убийцы разделили между собой. Об этом известно было все шестьдесят послевоенных лет, в округе этом было еще несколько очагов еврейских погромов, об этом знали и молчали не только те, кто устроил самосуд, но и ксендзы, и историки, и писатели, а на месте сожженного овина поставлен был валун, на нем написали, что это сделали немцы — оккупанты. Но вышла книга профессора политологии из Нью-Йорка Томаша Гросса «Соседи», в ней доказано, кто несет ответственность за массовое убийство, в дальнейшем был документальный фильм Агнешки Арнольд «Соседи», в течении двух вечеров он шел по польскому телевидению, и бывшие соседи рассказывали перед камерой, как все происходило на самом деле, как закапывали в землю еще живых, притаптывали ногами шевелящиеся могилы, как сельские парни играли в футбол отрезанной головой недавнего своего соседа — еврея. Президент Квасневский заявил, что именно 10-го июля он попросит прощения у евреев на месте трагедии, хотя по опросу 48% поляков считают извинения неуместными, а бывший министр внутренних дел даже подал на него иск в суд — за оскорбление польского народа. Но Квасневский остался непреклонен: «Это вопрос нашей ответственности, нашего морального сознания, нашего видения проблем современного мира и того, что произошло в прошлом и осталось в нашей истории».

Вот на таком фоне вышел первый том, как сказано, исторического исследования Солженицына «Двести лет вместе», в нем — в завуалированной форме то, что многие годы он носил в душе. Впрочем, как выяснится позднее, главное, не скрывая, не вуалируя подлинных чувств, со всей яростью написал он еще в 65-м и 68-м годах, но расчет подсказал: не время, впереди пока еще в мечтах, в тумане засветила Нобелевская премия. И терпел, ждал, а ныне, публикует, дескать, потому, что многое из этого открылось ему, когда он писал главную свою глыбу «Красное колесо», но не вместились: шил костюм-тройку, осталось материала еще и на кепочку, не пропадать же. Вот этой фальшью предварил он книгу в первом же интервью, ею и пронизана вся книга.

Как историческое исследование книга совершенно ничтожна и не заслуживает подробного разбора, да у меня и желание на это нет, времени — тем более... За две тысячи лет изгнания и рассеяния написаны тонны книг скрыто и открыто клеймящих «проклятую эту расу», имена большинства авторов забыты, на некоторых так и осталось клеймо позора. Ну,

прибавилась еще одна, еще один автор прославился несмыслаемо. Не идет она в сравнение и с «Протоколами сионских мудрецов», то было — высокопрофессиональное творение царской охранки, даже император Николай II, поначалу воспринявший его с душой, вынужден был отказаться, когда Столыпин предъявил доказательства, что перед ними — фальшивка. И император, носивший значок «Черной сотни», начертал гневную резолюцию: чистое дело не делают грязными средствами. Нет, это не «Протоколы»: и труба пониже и дым пожиже.

Между прочим, на просторах, ставших в дальнейшем Российской империей, евреи встречались и ранее этих избранных двухсот лет, имена некоторых остались в истории. И были племена, например тюркское племя хазар, могущественное Хазарское царство со столицей Итиль в низовьях Волги, властители которого приняли иудаизм еще в VIII веке. Вот как хазарский царь Булан избирал веру, решив отказаться от идолопоклонства. Он устроил в своем присутствии диспут трех религий: мусульманства, христиан, прибывших из Византии, и иудеев. Ничего толком не поняв из их споров, где каждый хвалил свою веру, Булан поступил просто: он призвал к себе поодиночке христианина, потом мусульманина. Христианина спросил: если бы тебе предстояло выбрать иудейскую или мусульманскую религию, какую ты бы выбрал. «Иудейскую», — сказал христианин. И обосновал так: она была дана избранному народу самим Богом, но Бог же потом отверг этот народ за грехи. Спросил царь Булан мусульманина, какую бы он выбрал религию, христианскую или иудейскую, если бы ему представилось выбирать. «Иудейскую» сказал мусульманин. А христианская потому для него плоха, что позволяет есть нечистое (свинину) и молиться изделиям человеческих рук: иконам. И царь выбрал иудейскую веру, так сказать, по большинству голосов. Два столетия (это теперь нам кажется, что они мелькнули, а тогда, как сегодня, каждый день от утра до вечера был долг), два столетия хазарские правители распространяли свою власть на юго-восточную полосу позднейшей европейской России, владели территорией прежнего Боспорского царства, т. е. территорией Керчи, Тамани, совершали набеги на славянские племена по южному Днепру, обкладывая данью. Помните: «Как ныне сбирается вещий Олег/ Отмстить неразумным хазарам/ Их села и нивы за буйный набег/ Обрек он мечам и пожарам...»

Но все это — дела давно минувших дней, автором взяты двести лет от того раздела Польши, когда к России прибавилась часть ее восточных, а для нас — западных земель, населенных в основном католиками, с ними — и семьсот тысяч евреев, живших в местечках и селах. Их предков пригнали сюда из Западной Европы крестоносцы в годы трех крестовых походов: отправляясь защитить гроб Господен от мусульман неверных, они по ходу дела прежде всего грабили и убивали неверных иудеев в своих странах: в прирейнских областях тогдашней Франции, Германии, уничтожали или насильно крестили. Солженицын пишет, проявляя поразительное невежество: «...в «дикие» Средние века люди могли массово убивать только в приступе ярости, в жаре битвы». Какая уж тут битва? Это было избиение вооруженными ордами беззащитных людей. И ужас перед ними был так велик, что матери в отчаянии сами убивали своих детей, следом — себя. Но на отдалении веков, все это ныне живущим не больно. Возьмем поближе. После Второй мировой войны, когда англичане по требованию Сталина выдали нам пленных казаков, выдали вместе с семьями, одна казачка побросала с моста двоих своих детей в Драву, а потом бросилась сама. Может потому, что фронт наш проходил вблизи этих мест и знаю эти места, вижу, как отрывала она от себя детей, как котят, а они цеплялись за нее в страхе, а она одного за другим кидала их в кипящий поток прежде, чем самой туда кинуться. Матери есть матери и дети есть дети, чьи бы они ни были. И страх, и боль, и смерть — одна. Именно в годы крестовых походов, спасаясь, бежала часть евреев на Восток: в Венгрию, в Польшу. Как уж им там жилось, другой вопрос, но в состав России они не просились, их присоединили. И тут же прочертили черту, за которую им и ногой ступить не разрешалось: черту оседлости. Если взглянуть исторически, то ясно, что никогда никакая черта не сдерживала расселения народов, даже океаны не становились преградой, древние на плотах, как доказано Туром Хейердалом переплывали их. Не помешала и черта оседлости тому, что неминуемо. Уже Николай I, не дав никаких прав, повелел призывать в армию евреев, выдерживать их оттуда, из-за черты. Брали и 12-13 летних детей, хватали и восьмилетних и гнали этапом, и были это в основном дети бедноты, кто побогаче, откупался. Один такой этап встретил Герцен по дороге в Вятку, куда он был сослан. За чашкой чая в избе он спросил

этапного офицера: «— Кого и куда вы ведете? — И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну да про то знают першие, наше дело исполнять, не мы в ответе, а по-человеческому не красиво. — Да в чем дело-то? — Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятiletнего возраста. Во флот что ли набирают — не знаю. Сначала было их велели *знать в Пермь. Да вышла перемена, гоним в Казань.* Я их принял верст за сто; офицер, что сдавал, говорил: «Беда да и только, треть осталась на дороге (и офицер показал пальцем в землю). Половина не дойдет до назначения, — прибавил он. — Повальные болезни что ли? — спросил я, потрясенный до внутренности. — Нет, не то, чтоб повальные, а так мрут, как мухи... ну, покашляет, покашляет и в Могилев. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать? Я молчал. — Вы когда выступаете? — Да пора бы давно, дождь был уже больно силен... Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать! Привели малюток и построили в правильный фронт; это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал... Мальчики двенадцати, тринадцати лет еще кой-как держались... но малютки восьми, десяти лет... Бледные, изнуренные, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях с стоячим воротником. Обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами — показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без ухода, баз ласки, обдуваемые ветром, который беспрепятственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И при том, заметьте, что их вел добряк-офицер, которому явно жаль было детей». Разумеется, такого свидетельства в «равновесном» историческом исследовании Солженицына мы не встретим, а встретим, например, статистические данные, процентное соотношение количества евреев в армии в 1903 и 1904 годах. В 1904 году их в армии стало меньше: началась война с Японией, не хотели, мол, идти на войну, защищать родину. И будто невдомек исследователю, что 1904-му предшествовал страшный Кишиневский погром 1903-го года. Но то, что непонятно, а, верней, сознательно обойдено нашим историческим мыслителем, понимал, например, герой Первой мировой войны русский генерал Брусилов. В книге «Мои воспоминания», впервые полностью изданной у нас в 2001 году издательством РОССПЭН, Брусилов пишет: «Несколько слов также об еврейском вопросе в войсках. Думаю, что эти слова будут безусловно нелицеприятны, ибо у меня нет пристрастия к этому племени ни в хорошую ни в дурную сторону, а во время войны я их, как воинов всесторонне изучил... Во время стояния на Буге, при объезде мною позиций, в одном из полков мне был представлен разведчик-еврей, как лучший не только в этом полку, но и во всей дивизии. Он находился в строю с начала кампании, доблестно участвовал во всех сражениях, три раза был ранен и быстро возвращался в строй без всякого понуждения, брался за самые рискованные и опасные разведки и прославился своей отвагой и смелостью. В награду получил 4 георгиевские медали и 3 георгиевских креста, заслужил также и георгиевский крест 1-й степени, но корпусной командир мне доложил, что ввиду запрещения производства евреев в подпрапорщики он не рискует представить его к этой высокой награде, так как она сопряжена с обязательным производством в подпрапорщики. Хотя по заслуженным им наградам этот разведчик давно должен был бы произведен в унтер-офицеры, но все еще состоял рядовым... Понятно, что я обнял и расцеловал его перед строем и тут же, хотя и незаконно, произвел его прямо в подпрапорщики и навесил ему крест 1-й степени». Приводит Брусилов еще и другой подобный пример, и хотя и пишет, что «большая часть евреев были солдаты посредственные», общий вывод боевого генерала таков: «Из этих двух примеров видно, что евреям в сущности не из-за чего было распинаться за родину, которая для них была мачехой». Но мы отделились от Николаевской эпохи. А тогда, по утверждению историка Дубнова, в армии евреев в процентном отношении к населению служило больше, чем любой другой народности, в том числе — и русских. Там же их и крестили насильно. А срок службы был 25 лет. Кстати, дед адмирала Нахимова, разгромившего турецкий флот в Синопском сражении, героя Севастополя, где он погиб, где установлен ему памятник а в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена и медали Нахимова 1-й и 2-й степени, орденами награждали флотоводцев за выдающиеся операции, матросов — за героизм, и есть нахимовское морское училище, так вот дед будущего адмирала Нухим был местечковый сапожник, а отца его, двенадцатилетнего кантониста, крестили: был Самуил, стал Степан. Потомки Нахимова живы поныне, носят его славную фамилию: это от его невенчанной жены Рахили, которая отказалась креститься, и ее изгнали с детьми из их поместья в Курской губернии, когда адмирал умер. Но мы опять

отвлеклись, хотя история, это не оструганный телеграфный столб, а живое дерево со множеством разросшихся в стороны ветвей.

Так вот при Николае I, отслужив 25 лет, солдат из евреев получал право (при Александре III это право было отменено) не возвращаться в черту оседлости, а выбирать в России место для жительства там, где ему захочется, селились и в Москве, в Мещанской слободе. Вам это ничего не напоминает из наших недавних времен? При советской власти крестьяне, которые в революцию сражались «за землю, за волю, за лучшую долю», а потом вновь были закрепощены, тоже ведь, по сути дела, жили за чертой оседлости, беспаспортные, не имевшие права без разрешения покидать место жительства. Но, отслужив в армии, солдат мог не возвращаться туда, за черту.

За двести лет, избранных Солженицыным, если верить ему, евреи-шинкари споили русский народ. Ну, а раньше на Руси не пили? Издав в 1700 году указ праздновать Новый год с 1-го января Петр I предупреждал строго: «...пьянства и мордобоя не учреждать, на то есть другие дни». И дней этих было так много, что в 1648 году в Москве, а потом и в других городах вспыхнули кабацкие бунты, войска вызывали на подавление. А содержали кабаки православные люди, целовальники, никаких шинкарей тогда не было, они крест целовали на том, что, беря торговлю водкой на откуп, торговать будут честно, и вскоре треть населения была у них в долгу. Несли из домов последнее, под Москвой забросили огороды, переставали пахать землю. Царь Алексей Михайлович, второй по счету в династии Романовых, вынужден был созвать в 1654 году собор, который так и назывался: собор о кабаках. И учредили: православным пить не больше 180 дней в году, чарками, и вместимость чарок была отмерена, а в остальные дни не пить. Но казна требовала денег, и через семь лет все это забылось. А пьяные бюджеты советских лет. А в наши дни, при Ельцине, когда церковь, став в один ряд с афганцами и спортсменами, добилась себе права беспощинно ввозить в страну водку и табак, спаивать и травить зельем свою паству.

Все это Солженицын знает, невозможно представить себе, чтобы настолько не знал он историю России, но где умолчанием, а где и с возмущением горестным подплескивает керосинцу в огонь нетленный. И метод избрал изощренный: чужими руками. Выбирает из двух энциклопедий, из журнала 22, из прочей публицистики, все то плохое, что евреи сами про себя пишут, оставляя себе возможность вроде бы даже поразиться и укоризненно покачать головой — ай-я-яй! — да комментариями соответствующими направить мысль читателя в нужное русло. Если из великой русской классической литературы выбрать нужные места, страшная составит картина. А тот же «Матренин двор», написанный Солженицыным, когда он еще был художником. Или так, например: если бы «Пышку», где представлено все французское общество в разрезе — аристократы, буржуазия, церковь святая в лице двух монашенок, а людьми-то среди них оказались на поверку только проститутка, судомойка да немецкий солдат-оккупант, если бы все это написал не француз Мопассан, а скажем, капитан Дрейфус, это бы пристегнули к его обвинительному заключению.

А еще Солженицын любит цитировать выкрестов. Я имею ввиду не тех, кого насильственно окрестили, и для верующих отступничество стало мукой на всю жизнь, а тех, кто продался, добровольно пошел служить. Вот уж кто ненавидит свой народ, вот уж кто, зная по себе, способен выворотить наружу все его пороки! И ненависть эта понятна, иначе как же ты, предатель, очистишься? Вот и в эту войну самыми жестокими карателями были полицаи.

И все же самое постыдное, что Солженицын оправдывает погромы: если, мол, разобраться беспристрастно, то жертвы сами вызвали на себя гнев народный. И высчитывает и выискивает по разным источникам, что не столько-то было убито и изнасиловано, как сообщалось, а меньше, вот столько-то, а при вот этом погроме вообще только одноглазому еврею выбили гирькой второй глаз. Всего лишь.

Человек, который в наши дни, после того, как фашистами был учинен вселенский погром, в ходе которого уничтожено полтора миллиона детей, способен после этого оправдывать толпу, жаждущую крови, идущую безнаказанно убивать и грабить тех, кто и защититься не может, такой человек — вне морали.

В ноябре прошлого года отмечали 40-летие с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». О редакторе «Нового мира», о

Твардовском, а это он ее напечатал, не упоминалось, называли другие имена. Дело известное: у победы много отцов, поражение — сирота. Впрочем, в одной из газет все же было сказано: 11 ноября Твардовский подписал в печать номер журнала. Как о техническом работнике: ему поручили, он подписал. Еще двадцать лет назад в интервью Би-би-си Солженицын говорил: «Совершенно ясно: если бы Твардовского не было как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана». В этом же интервью он признавал, что и «Архипелаг ГУЛАГ» не был бы написан, если бы не появился и люди не прочли «Один день Ивана Денисовича»: «Он в моей биографии сыграл ту большую роль, что помог написать «Архипелаг». Из-за того, что я напечатал «Ивана Денисовича» — в короткие месяцы, пока меня еще не начали гнать, сотни людей стали писать ко мне письма. А некоторые и приезжать и рассказывать еще. И так я собрал неопишуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя — только благодаря «Ивану Денисовичу». Так что он стал как бы пьедесталом для «Архипелага ГУЛАГа». Но прошло еще двадцать лет, и Твардовского в его судьбе, как не бывало. Итак, в общей сложности минуло 40 лет. Это значит, между прочим, что те, кому сейчас сорок, в ту пору только родились на свет. А те, кому пятьдесят, кто уже нет-нет, да и о пенсии начинают подумывать, тем в ту пору было только десять лет. Не ими то время пережито, откуда им что знать? Но автор повести, который в дальнейшем стал за нее лауреатом Нобелевской премии, а в ту пору — никому еще не известный автор, он знает и помнит, как все было, как в дальнейшем за эту повесть травили Твардовского, раньше срока свели в могилу. Но теперь, спустя еще двадцать лет, Солженицын промолчал о Твардовском: его вспоминать, себя умять. Зачем? И молчанием своим удостоверил всю эту ложь. А ведь именно он, Солженицын, говоря уродливым современным языком, бросил слоган: «Жить не по лжи».

Достоевский говорил: мы не прощаем не тех, кто нам причинил зло, кто перед нами виноват, мы не прощаем тех, перед кем мы виноваты. Вот их не прощаем. Да и вообще, долго носить в душе благодарность, делиться с кем-либо славой, обременительное это дело. Иван Денисович из одноименной повести, не философствуя, а по своему голодному лагерному опыту рассуждал просто: «Брюхо-злодей добра не помнит».

А куда, как не в «Новый мир» в ту пору можно было отдать повесть? Во главе журнала «Октябрь» — Кочетов, известный мракобес. «Знамя» возглавлял Кожевников. Он любил литературу, но — тайною любовью. Это он, прочтя рукопись романа Гроссмана «Жизнь и судьба», отправил ее не в набор, а в КГБ. Ленинградские журналы? Они еще не отошли от страха после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», после того, что учинили над Ахматовой и Зощенко.

А в «Новом мире» при Твардовском печаталось все самое талантливое, что составило славу нашей литературы. И Юрий Трифонов напечатал здесь свои лучшие повести. Потом, когда Твардовского сняли с поста главного редактора, Трифонов перешел в «Дружбу народов». И Владимир Тендряков. И Василий Шукшин печатал здесь свои рассказы. Вообще большинство так называемых деревенщиков начинало и состоялось в «Новом мире»: и романы и повести Федора Абрамова, и роман Бориса Можая «Из жизни Федора Кузькина». Здесь печатали свои повести Василь Быков, Георгий Владимов, здесь напечатана была «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, которую со страхом отвергли ленинградские журналы. Здесь начинал, окреп и получил мировую известность Чингиз Айтматов. Как он за все за это отблагодарил Твардовского, я уже писал. Здесь напечатана была лучшая, на мой взгляд, книга Фазиля Искандера: «Созвездие Козлотура».

В поэзии Александр Трифонович был переборчив, многие, особенно молодые поэты, имели основание обижаться на него. Например, он мог напечатать бездарную длиннейшую так называемую поэму на производственную тему, заткнуть ею брешь. Но автор оказался еще и несговорчив, не соглашался сокращать свою рифмованную газетчину. Тогда Твардовский сказал ему: «Вот если бы вам самому пришлось высекать это на камне, вы бы сами сократили все до минимума». А целую ветвь молодой поэзии, которой суждено было будущее, он не замечал, ему это было не по вкусу. Но лучшая проза печаталась здесь, в «Новом мире». При Твардовском журнал стал центром притяжения, центром духовной жизни общества. Сюда стремились.

И вот — повесть «Один день Ивана Денисовича». Твардовский прочитал ее за ночь. И решил: голову положу, но напечатаю. Писатель, если это не ремесленник, а художник, не может

не написать то, что в нем родилось и зреет и само просится на свет. Талант сильнее страха, он преодолевает. Да, бывали случаи, когда художник, поддавшись соблазнам, задавливал в себе свое дитя, и в нем погибал и художник и человек.

Твардовский был редактор, гражданин, но прежде всего он был художник. Он знал: ни руководство Союза писателей, ни в ЦК ни на одном из этажей, где решалось все и вся, его не поддержат. Скорей — утопят. Он написал предисловие к повести, тем самым прикрывая ее своим именем, и обратился к Хрущеву через его помощника Лебедева, постучался, как сам говорил, в те двери, которые менее всего для этого отверзаются.

Из дней нынешних, когда целый пласт истории забыт, все это может показаться удивительным: а чего, собственно говоря, было опасаться? После доклада Хрущева на XX съезде, после разоблачения «культ личности» такая повесть была Хрущеву как раз в масть. Но это — из дней нынешних, мы все умные и смелые потом. А на дворе был еще только 62-й год, всего девять лет минуло со дня смерти Сталина, мертвый еще крепко держал в закостенелом кулаке души живых, а соратники его были расставлены повсюду, сидели на своих местах. Сегодня Хрущев разоблачает «культ», а завтра, созвав, так называемую, творческую интеллигенцию, стучит кулаком по столу и, налившись кровью, кричит: во всем я ленинец, а в отношении к искусству — сталинец! Да что там говорить, когда свою речь на XX съезде Хрущев не решился или не дали ему напечатать. А после XX съезда за шесть лет сложилась и окрепла оппозиция, уже время начало двигаться вспять. И вот в такую пору Твардовский, прикрыв собой, посылает ему повесть Солженицына.

В «Рабочих тетрадях» Твардовского, которые сейчас печатают, рассказано, как тянулись дни и месяцы ожидания, как вдруг позвонил на дачу Лебедев, сказал: повесть разрешена. И Твардовский кинулся к Марии Илларионовне, жене своей и сподвижнице, а она слышала весь разговор по другой трубке, и расцеловал ее, не сдержав слез. Дорогого стоит, когда человек способен радоваться за другого, как за самого себя. Но страшны люди, не ведающие благодарности. Особенно те, кто в мессианском своем сознании уверены: все живущие уже за одно то должны быть благодарны им, что участвовали жить в одну с ними пору.

Помню, прочел я в «Новом мире» повесть «Один день Ивана Денисовича» и был заворожен силой таланта. И тогда же написал о ней, это была первая рецензия в «Литературной газете». Потом мне это припомнят. А тогда встретил меня случайно Твардовский в Доме литераторов и говорит: конечно, рецензия ваша не сильна аналитическим анализом, но — спасибо. В дальнейшем, когда ветер переменился и глава Союза писателей беспартийный Федин заколебался вместе с линией партии, Твардовский стыдил его несколькими фразами из той моей рецензии, это есть в его собрании сочинений.

Повесть Солженицына буквально произвела взрыв в общественном сознании. Верней сказать так: общество созрело, ждало, и в этот-то момент она явилась. Но пока ее хвалили у нас, и вслед за журналом срочно выпустили книгой, а еще и в «Роман-газете» — тиражом в несколько миллионов экземпляров, за границей отнеслись к ней весьма сдержанно. Но вот согнали Хрущева с поста, оставив под надзором заниматься огородом на отведенной ему даче, а во главе партии стал Брежнев. И развернулась травля Солженицына, травля «Нового мира» и, разумеется, Твардовского. Финский издатель Ярль Хеллеман, он году в шестидесятом издавал мою повесть «Пядь земли», в дальнейшем мы подружились, так вот он рассказывал, как они первоначально издали «Один день Ивана Денисовича» пробным тиражом в 3 тысячи экземпляров, и половина этого тиража, не раскупленная, осталась лежать на складе: это для вас, говорил он, — новость, а у нас про все, что здесь рассказано, давно известно. Но тут вы нам помогли: начался шум в газетах, и мы сразу переиздали ее тиражом в 20 тысяч. И все раскупили. То же самое рассказывал мне шведский издатель Пэр Гедин, он издавал две мои книги. Кстати, подробность из тех времен: приехал он в Москву, садимся у меня дома обедать — звонок из ВААП, то есть из Всесоюзного агентства по охране авторских прав. Никаких авторских прав оно не охраняло, поскольку никаких прав мы не имели. Агентство само заключало за нас договоры на издание наших книг за границей, гонорары соответственно забирало себе, для видимости оставляя авторам копейки. Был там заместитель главы агентства, штатский, но бывший СМЕРШевец, он имел звание то ли полковника, то ли генерала ведомства, пронизавшего всю страну. «У вас сейчас Пэр Гедин. Он собирается издавать Солженицына. Так вы скажите ему: либо Солженицын, либо девять тысяч советских писателей!» «Да не нужны ему



девять тысяч советских писателей». «Нет, вы ему так и передайте!» И не сомневается, что «девять тысяч советских писателей» у него — в горсти. Это и называлось охраной авторских прав. Я пообещал: непременно вот так и передам. Между прочим, читающий человек в среднем успевает прочесть за свою жизнь 4 тысячи книг.

А издавал в это время Пэр Гедин «Архипелаг ГУЛАГ», он и рассказал мне, как приехал к нему вести деловые переговоры Солженицын, высланный из СССР и свободно перемещавшийся по странам, как уединились они в кабинете, и Солженицын потребовал, чтобы всех «weg!» А была в доме большая черная собака с отрубленным хвостом: «Каналья», старая и по старости ласковая ко всем, в том числе — к гостям. Не лишенный юмора Пэр спросил: «И Каналью тоже weg?» (Говорили они по-немецки). «Weg!» И такого страха гость этот нагнал на всех, что когда дочь Пэра Марийка внесла на подносе чай и печенье, руки у нее тряслись, она уронила чашки с горячим чаем Солженицыну на колени. Наша пропаганда, бессильная в своей ярости, бессильная потому, что вылетел птенчик из гнезда, вышла в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», очень и очень наша пропаганда помогла Нобелевскому комитету совершить свой выбор. И это не впервые. Великого поэта Пастернака выставляли и раньше на Нобелевскую премию, но дали премию только после романа «Доктор Живаго», который у нас подвергся изничтожению. А выйди он спокойно книгой, ровным счетом ничего бы не сотряслось. Поэты вообще редко пишут хорошую прозу. Речь, конечно, не о Пушкине, не о Лермонтове. «Герой нашего времени» — это начало психологической русской прозы.

Твардовский умер от рака. Известнейший немецкий онколог и хирург Райк Хамер, обследовав более 20 тысяч больных разными формами рака, пришел к выводу, что у всех этих людей незадолго до начала заболевания имел место какой-то сильный стресс, эмоциональный конфликт, который им не удалось разрешить.

Тем не менее, когда чета Солженицыных вернулась из Вермонтского поместья на родину, встреченная с величайшим энтузиазмом, раздалось вскоре из семьи: а что, собственно говоря, «Новый мир» сделал для Солженицына? Напечатал три рассказа. И то название одного из них пришлось изменить, потому что Твардовский не ладил с Кочетовым: назывался рассказ «На станции Кочетовка», а пришлось назвать «На станции Кречетовка». Выходит, еще и пострадали. И это сказано было вслед уже ушедшему из жизни Твардовскому. Недавно младшая дочь Александра Трифоновича Оля сказала мне: «Я все думаю: за кого отец взошел на костер...»

Итак прошло сорок лет с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», сыгравшая такую роль в судьбе Солженицына. Как художественное произведение это — лучшее из всего, что им создано. Да еще, пожалуй, — написанный с натуры «Матренин двор». И опять сошлюсь на Достоевского, он писал: «Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной». В рассказе «Матренин двор» — правда действительная, в маленькой по размеру повести «Один день Ивана Денисовича» автор смог подняться до высоты правды художественной. И потому она останется. Конечно, останется «Архипелаг ГУЛАГ». Не вина автора, что сегодня у этой книги немного читателей, в ту пору, в пору холодной войны, она сыграла свою роль, да и написана сильно. Безразмерное «Красное колесо», главный труд его жизни? Рассказывают, вернувшись в Россию, автор заявил: эта книга должна лежать у каждого на столе. Не знаю, насколько это достоверно, хотя самооценке и характеру автора соответствует. Но вот покойный ныне Владимир Максимов писал: это не просто провал, это сокрушительный провал. Я читал первый «узел», «Август четырнадцатого года» в рукописи, когда там еще не было тех 300 страниц об убийстве Столыпина и обо всем, что с этим в его трактовке связано. И после «Ивана Денисовича», дышащего живой жизнью, показалось мне все это натужным, очень литературным и просто скучным. Но когда в годы перестройки труд этот был у нас издан, я стал читать его заново. Нет, не художник писал это и не историк, а грозный судья, на каждой странице — перст указующий: быть посеми! Истории отныне быть такой, как я начертил и всем вам знать предписываю. Впрочем, кто только не насиловал историю, кто ни пригибал ее в свою сторону, по каким лекалам ее ни кроили. И пока медленно продвигался я от «узла» к «узлу», все мне бессмертный Гоголь нет-нет да и вспомнится: как въехал Чичиков в губернский город NN и «два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы,

сделали кое-какие замечания, относившиеся более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» «Доедет». — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой». В недавней своей статье «Потемщики света не ищут» (Кто — потемщики? Кто — свет?) Солженицын писал озабоченно: «Но вот сейчас явно избранно: опорочить меня как личность, заляпать, растоптать само мое имя. (А с таимой надеждой — и саму будущую жизнь моих книг?)» О личности разговор еще продолжится, а что касается книг... Ему ли не знать, что это невозможно. Весь пропагандистский аппарат второй сверхдержавы мира был брошен на то, чтобы растоптать маленькую его повесть «Один день Ивана Денисовича». И что, каков результат? И книга, и автор всемирно прославились, автор был удостоен Нобелевской премии. И сейчас, когда прошли десятилетия и времена переменялись, книга жива, потому что она талантлива, она включена в школьные программы наряду со многими запрещенными при советской власти книгами. Разумеется, политическое значение ее, эхо того взрыва отлетело, если бы сегодня постучались ею в дверь Нобелевского комитета, очень может быть, дверь приоткрылась бы на цепочку, не более: «Вам кого?» Будущая жизнь книг неподвластна ни «сверхусильному напору» (*выражение Солженицына*) авторов, ни суждениям современников, ни властителям, она во власти Времени. И только Времени. Роман «Раковый корпус» я читал в рукописи, т. е. напечатанный на пишущей машинке, на тонкой бумаге, через один интервал. Запрещенная рукопись, которую дают тебе на ночь, максимум — на две ночи, имеет особую силу притяжения. Но не скажу, чтобы «Раковый корпус» поразил меня, с «Иваном Денисовичем» равнять его было нельзя. Но уже разворачивалась травля Солженицына, собралась секция прозы Московского отделения Союза писателей, я пришел на заседание, назвал позором, что книгу эту не разрешают печатать, сказал Солженицыну (он сидел за маленьким столом президиума, я стоял рядом), что какие бы гонения ни ждали его впереди, ему еще многие позавидуют. Хотел еще что-то сказать, да забыл. «Говорите, говорите!» — попросил он. В годы перестройки, будучи редактором журнала «Знамя», я хотел напечатать «Раковый корпус», вспомнив все это, но Солженицын отдал его в «Новый мир» Залыгину, который в годы гонений, подписал то палаческое письмо в «Правде» против него и Сахарова. Чем руководствовался автор романа, не знаю, возможно, обнаружилось родство душ. И совсем по-другому читал я роман «В круте первом», произвел он сильное впечатление. Но вот — перестройка, роман издан. Помню, пошел я на почту, достаю журнал и не удержался, раскрыл, прочел тут же первые строки: «Кружевные стрелки показывали пять минут пятого. В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем темной». Да у Чехова — тень мельничного колеса и блестит в ней осколок бутылки, вот и вся она зримо — лунная ночь. Классическая русская литература — прекрасная школа. И все равно как точно, кратко написан замирающий декабрьский день. Но чтоб не портить впечатления, закрыл журнал, прочту дома. И шел-спешил. Но чудо не повторилось, чем дальше читал, тем больше поражался: да это же соцреализм, типичный по всем приемам — соцреализм, хотя содержание совершенно немыслимое для соцреализма. И вообще, возможен ли роман без женщины, без любви? Ах, какие женщины в русской литературе! Правда, что «есть женщины в русских селеньях». Не будем касаться Льва Толстого, это совсем другое измерение: Наташа Ростова, Анна Каренина, Бетси Тверская, Элен Безухова... Но Аксинья, Дарья, Ильинична в «Тихом Доне» в совершенно другую эпоху и в другой среде. А у Булгакова! Да что говорить... Впрочем, какие женщины, когда — «шарашка», когда корпус, где люди умирают от рака. Но у этих людей было прошлое, а на краю жизни еще сильнее, трагичней и ярче вспыхивает любовь, если автор наделен не только даром бытописателя, но и даром художественного воображения, даром сочинителя в самом высоком смысле этого слова. Фантазии Солженицын, к сожалению, лишен, если не касаться его, так называемых исторических исследований, там фантазии через край. Роман — не его жанр, этого ему не дано. Итак, минуло сорок лет с тех пор, когда вышла повесть «Один день Ивана Денисовича». Возможно, автору казалось, что это — его начало, главная его книга впереди. А это была его вершина.

Года полтора спустя вышел из печати второй том «Двести лет вместе». Попробовал читать начало, прочел главу о войне — основная чуть завуалированная цель — доказать, что евреи если и воевали, то не на передовой, гуще их обреталось в тылу, а поскольку в народе сло-

жились убеждение, что основная масса евреев «взяла с бою Ташкент и Алама-Ату», то, назидает он строго, к этому *надо прислушаться*. Но убеждения, представления народов друг о друге, не сами складываются, их внушают, и книга Солженицына из того разряда, задача ее — внушить. В фашистской Германии, во времена Гитлера, внушалось, что злостные виновники всех бед — евреи, и большинство населения это приняло, кто молча одобрял, а кто и с трибун: и погромы, и депортацию, и «окончательное решение еврейского вопроса». *Надо прислушаться?* А когда у нас шли процессы над «врагами народа» и тысячи тысяч наших сограждан под барабанный бой пропаганды выходили на демонстрации, неся плакаты: «Уничтожить гадину!», и к этому ныне *надо прислушаться?* А когда брошен был лозунг уничтожить кулаков, как класс, и по команде сверху односельчане, как могли, способствовали, по ходу дела разграбляя и присваивая чужое имущество, к этому мнению народному тоже *надо прислушаться?* И десять миллионов человек были высланы на погибель за Урал, на Север, в болота. И тоже лауреат, верней — будущий лауреат Нобелевской премии Шолохов, освятил все это истребление своей книгой «Поднятая целина», которую многие поколения покорно изучали и в школе, и в институтах. Повторяю, народы знают друг о друге в первую очередь то, что им внушают. Так было и две и три тысячи лет назад, так точно и сегодня, когда мир, казалось бы, распахнут для всех, кто хочет видеть и знать. Но все же воевали евреи или действительно в основной своей массе «взяли с боя Ташкент и Алма — Ату»? Солженицын пишет: «Советский источник середины 70-х приводит данные о национальном составе двух стрелковых дивизий с 1 января 1943 по 1 января 1944 в соотношении с долей каждой национальности в общем населении СССР в «старых» границах. В этих дивизиях на указанные даты евреи составляли соответственно — 1,50% и 1,28 % при доле в населении 1,78% (на 1939 г). Но если взять, например, национальный состав ополченческих дивизий, «в соответствии с долей каждой национальности в общем населении СССР», скажем, ополченческих дивизий Москвы, Ленинграда, то есть людей, не призванных в армию, а добровольно идущих на войну защищать свою родину, боюсь, Солженицына ждут здесь большие огорчения. Вообще же можно найти две стрелковые дивизии, где евреев было еще меньше, чем 1,50 и 1,28%, можно найти две стрелковые дивизии, где евреев было значительно больше, можно найти стрелковые дивизии, где призванные из республик Средней Азии солдаты составляли едва ли не половину. Директор музея обороны «Сталинградская битва», военный историк Борис Усик утверждает, что в дивизиях, сражавшихся под Сталинградом, солдаты, призванные из Средней Азии и с Кавказа, составляли более половины. Да разве поверят в это, хоть архивные документы к глазам поднеси, поверят ли те, для кого среднеазиаты — «чурки»? Солженицын признает, что по числу Героев Советского Союза евреи — на пятом месте после русских, украинцев, белорусов, татар. Следует добавить, что половина из них получила это звание посмертно. А если взять количество Героев Советского Союза на 10 тысяч населения, то евреи — на втором месте после русских. И абсолютное большинство евреев — Героев Советского Союза — это рядовые, сержанты и младшие офицеры (36 человек), главным образом — пехотинцы. А еще — артиллеристы, минометчики, танкисты, саперы, летчики, офицеры военно-морского флота, в том числе — подводники. Политработников — 12 человек. Это давно опубликовано вместе с портретами, и краткой биографией каждого. Всего же призвано было на фронт по данным Центрального архива Министерства обороны 434 тысячи евреев. (А еще и в партизанах по разным оценкам было до 25 тысяч). Погибло — 205 тысяч. То есть — почти половина. В тылу столько не погибает. Кто же эти, погибшие? В. Каджая в статье «Как воевали евреи: по Солженицыну и в действительности» (статья эта есть в Интернете) приводит цифры: «Среди воинов-евреев, погибших и умерших от ран, 77,6 процента составляли рядовые солдаты и сержанты и 22,4 — младшие лейтенанты, лейтенанты и старшие лейтенанты». Тем не менее Солженицын пишет: «осталось в массе славян тягостное ощущение, что *наши* евреи могли провести ту войну самоотверженней: что на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще». Антисемитизм неискореним, тем более, что для многих он выгоден: на этом строились и строятся карьеры, на этом создавались состояния. С тех пор, как 2000 лет назад римляне победили не покорившихся им иудеев и по дороге от Иерусалима до Рима распяли на крестах воинов-иудеев, а остальное население рассеялось по странам мира, не имея с тех пор своей родины, они, инородцы, повсюду стали виновниками всех бед, в том числе — и гнева природы, вечными козлами отпущения. А еще и в том были виноваты, что очень часто без них дело не ладилось. Все отвратительное, все подлое,

что антисемит знает в себе, он приписывает еврею, которого, может быть, никогда и не видел. Чтоб искоренить антисемитизм нужны не десятилетия, не столетия, нужны тысячелетия. Да вот только отпущен ли людям такой срок? И что тут цифры, когда «осталось ощущение». И оно не только «осталось», у нас оно нагнеталось, это была сознательная послевоенная политика государства. У моей первой повести о войне было посвящение: «Памяти братьев моих — Юрия Фридмана и Юрия Зелкинда, — павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне». Как же на меня давили в журнале, как вымогали, чтобы я снял посвящение: а то ведь получается, что евреи воевали. Я, разумеется, посвящение не снял. Тогда, в тайне от меня, уже в сверке, которую автору читать не давали, его вымарали. Прошли годы, и в книге я восстановил его. Вот этим достойным делом, абсолютно в русле сталинской политики, и занят сегодня Солженицын. Да, он признает, что «пропорция евреев-участников войны в целом соответствует средней по стране». Но тут же — другой счет: среди генералов Красной Армии евреев, генералов медицинской службы — 26, ветеринарной службы — 9, в инженерных войсках служило 33 генерала еврея. На этом счет обрывается, прочтет не сведущий человек, а таких сегодня у нас большинство, и убедится: ни артиллеристов, ни танкистов, ни летчиков, ни общевойсковых генералов — евреев не было. И — вывод автора: «Но как бы неоспоримо важны и необходимы ни были все эти службы для общей победы, доживет до нее не всякий. Пока же рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, — и всякому было наглядно: да, там евреев значительно *гуще*, чем на передовой». Рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, не разглядел бы, где там в обозе а потом во втором эшелоне обрелся Солженицын. Тем не менее пишет с обидой в статье «Потемщики света не ищут», что кто-то из журналистов упрекнул его в том, что в добровольцы он не записался. «А я, — пишет он, — как раз-то и ходил в военкомат, и не раз добивался, — но мне как «ограниченно годному в военное время по здоровью велели ждать мобилизации». Свежо предание, да верится с трудом. Хватило здоровья лагеря одолеть, до восьмидесяти пяти лет дожить и только идти на войну, где могут убить, здоровья не хватало. После позорной финской войны по приказу министра обороны Тимошенко гребли в армию всех, окончивших десятилетку. Мой старший брат Юра Фридман как раз окончил десятый класс, а в армию его не взяли: он почти не видел левым глазом. Но началась Отечественная война, и он, студент исторического факультета МГУ, пошел в ополчение, в 8-ю московскую дивизию народного ополчения, был на фронте командиром орудия и погиб на подступах к Москве. Да разве он один. Тысячи, тысячи шли. Мой дядя, Макс Григорьевич Кантор, коммерческий директор одного из московских заводов (ему подавали машину, мало кому подавали машину до войны), уж он-то мог пересидеть войну в тылу, да и был уже в годах. Но он тоже пошел в ополчение, служил санитаром в полку и погиб под Москвой. Я вот думаю: был ли от него на фронте какой-нибудь толк? Вряд ли. Но он поступил так, как повелевала совесть. Кто хотел идти на фронт, шел. Но и дальше в этой статье Солженицын продолжает творить миф о себе: «Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию». И все-то — *сверх* применительно к себе: здесь — «сверхусильным напором», дальше увидим — «сверхчеловеческим решением». А что это была за артиллерия и на каком отдалении от передовой она располагалась, разговор впереди. Но для того, чтобы попасть на фронт, никакого сверхусильного напора не требовалось, могу свидетельствовать. После тяжелого ранения, после полугода проведенного в госпиталях — армейском, фронтовом, тыловом, — после многих хирургических операций, я был признан на комиссии не годным к строевой службе, инвалидом, или, как говорили, тогда, комиссован. Но я вернулся в свой полк, в свою батарею, в свой взвод и воевал в нем до конца войны. А вот находится там, где находился Солженицын, для этого, действительно, требовались определенные качества и сверхусильный напор. Ведь он за всю войну ни разу не выстрелил по немцам, туда, где он был, пули не долетали. Так ты хоть других не попрекай. Нет, попрекает. В одной из своих статей стыдит покойного поэта Давида Самойлова (на фронте Давид Самойлов — пулеметчик второй номер), что тот недолго пробыл в пехоте, а после ранения — писарь и кто-то еще при штабе. Но сам-то Солженицын и

дня в пехоте не был, ни разу не ранен, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит. А выглядел он так: в книге Решетовской напечатана его «фронтовая» фотография: палатка, стол, стул и сам Солженицын стоит около палатки в длинной до щиколоток кавалерийской шинели с разрезом до хлястика, в каких обычно щеголяло высокое начальство. Можно верить и не верить тому, что первая, брошенная жена, пишет про него в этой книге, но фотография — это документ. Мог пехотный офицер или артиллерист (не говорю уж про солдата) стоять вот так в полный рост среди бела дня? В землянке или в окопе — до темноты. И оправлялся пехотинец в окопе, а потом подденет малой саперной лопаткой да и выкинет наружу, рассчитав, чтоб ветром дуло не в его сторону. Да и что пехотинцу или артиллеристу делать в такой показушной шинели, когда он месит грязь по дорогам и бездорожью? Он полы короткой своей шинели и те подтыкал за пояс. А что подстелит под себя в окопе? Шинель. А под голову? Шинель. А укроется? Шинелью. А у этой, сквозь разрез, звезды видать.

Не по статистике, по своему личному наблюдению, все-таки почти всю войну я пробыл на фронте не пехотинцем, но с пехотой: там, в пехоте, у командира роты и ближе, в траншее, или на высотке, на переднем ее скате, обращенном к противнику, там — место командира взвода управления, корректирующего огонь батареи, так вот по моему наблюдению евреев-пехотинцев в процентном отношении ко всему населению было меньше, чем русских. Не удивлюсь, если окажется, что и русских в процентном отношении к населению было в пехоте меньше, чем, скажем, узбеков, таджиков, киргизов, туркмен. Вот же, повторяю, пишет директор музея «Сталинградской битвы», что под Сталинградом солдаты из Средней Азии и с Кавказа составляли больше половины сражавшихся. А ведь немало из них и русского языка не знали, команды, в том числе — в атаку — передавали через переводчика. Таков был и результат. Не потери убитыми и ранеными, а — результат. В пехоту гнали, в первую очередь, крестьян. И не нация тут решала, а — уровень образования. Талантливых людей, самородков, скажем, в русской деревне было, возможно, не меньше, чем в городах, да вот уровень образования отличался. У немцев танкисты были, в основном, не крестьяне, а рабочие, наши «братья по классу». А у нас к концу 42-го года стали отзывать с фронта сталеваров, в тылу они были нужней чем на фронте. Исследователь, если он действительно исследует, а не искажает историю, не может не понимать всего этого, не знать.

Теперь — о генералах. В книге английского историка Алана Кларка «План «Барбаросса», переведенной у нас, изданной в серии «Вторая мировая война», есть любопытный момент, приведу несколько цитат. Идет наступление немцев на Москву. Еще к сентябрю мы потеряли 18 тысяч танков, то есть почти все танки, а было их у нас столько же, сколько у немцев да еще у всех стран Европы вместе взятых в придачу. Потеряли 14 тысяч самолетов. Цитирую: «На этой стадии у Жукова оставалась только одна самостоятельная танковая часть, 4-я танковая бригада полковника Катюкова... она оставалась единственной ударной группой между Окой и Мценском, в разрыве шириной почти 70 миль. Получив приказ повернуть вокруг Мценска и задержать наступление Гудериана на Тулу, Катюков нанес резкий удар по 4-й танковой дивизии 6 октября, заставив ее «пережить несколько трудных часов и понести тяжелые потери».

Итог: «От быстрого наступления на Тулу, которое мы планировали, пришлось отказаться». Это пишет Гудериан. А через пять дней, «Вечером 11 октября, когда авангард 4-й танковой дивизии вступал в пылающий пригород Мценска, дивизия вытянулась на 15 миль по узкой дороге, где поддерживающая артиллерия и пехота находились почти за пределами радиосвязи, для Катюкова настал момент нанести следующий удар... Русские стремительно и ожесточенно атаковали немецкую колонну, расчленив ее на куски, которые подверглись систематическому уничтожению... 4-я танковая дивизия была фактически уничтожена, оборона Тулы получила еще одну небольшую передышку». Дивизия, как известно, больше и мощней бригады. Катюков же, в дальнейшем — генерал и даже, если не ошибаюсь, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, — еврей. Я этого не знал до последнего времени, у нас, по известным причинам, это не афишировалось. Но вот недавно в Вене проходила выставка, поместившаяся в одной комнате еврейского музея. Называлась она «Заре навстречу». На стенах — портреты евреев Героев Советского Союза. Дважды Героев — трое, среди них — М. Катюков. (Газета «Труд», 17/V-2002г.) А кавалерийским соединением, героически

сражавшимся под Москвой, командовал и погиб под Москвой Лев Доватор, это и школьники знали в свое время. И Дважды Герой Советского Союза генерал Смушкевич был не ветеринар, а летчик. Его в июне 41 года из госпиталя на носилках увезли в тюрьму и в дальнейшем, 28-го октября, вместе с бывшим командующим нашей авиации Рычаговым, который перед войной посмел сказать Сталину, что наши летчики летают на гробах, за что и был арестован, так вот их обоих и жену Рычагова, спортивную летчицу-рекордсменку, и генерал-полковника Штерна, Героя Советского Союза, и еще несколько генералов расстреляли под Куйбышевым. Немцы стояли под Москвой, но сталинская машина уничтожения торопилась уничтожить лучших, самых честных, смелых и преданных.

Я не знаю, сколько в нашей армии было генералов евреев, (впрочем, если много, опять есть повод сказать: вон *их* сколько взобралось посылать людей на смерть, а на передовой не видать *их*), сколько было генералов татар, армян, никогда этим не интересовался, не делил людей по составу крови. Этим занимались фашисты, с ними шла война. Я даже и во взводе у себя меньше всего интересовался кто — кто, главным было, как он воюет. Вот сейчас постарался вспомнить по фамилиям, да ведь по фамилии, как мы видели, не всегда угадаешь национальность, и вот что получилось: большинство — русские, украинцев — двое, армянин — один, азербайджанец — один, татарин — один, еврей — один, грузин двое, оба из Мингрелии. Одного из них, командира отделения связи Джгунджгия, мы называли «патара камечио»: по-грузински, если точно запомнилось, это — маленький буйвол: был он крепкий на редкость, хотя и молодой по годам. Через много лет после войны он разыскал меня и пишет: «Здравствуй мой дорогой фронтовой однополчану Фридману (Бакланов) Григори Яковлевичу. Из солнечной грузия города Зугдиде от Габриелу (Гаджи) малхазовичу Джгунджгия. Дорогой мой Любимий командир григори Яковлевичу, прошло — 41 лет, что я тебя не мог найти ни где, сколько встреча было по дивизий и бригаду 115-ой Запорожие было встреча 1981 году кому спросил никто мне не мог ответит, 1984 года было встреча г. Кривой Рог, тоже никто не мог сказать от тебе, а 1986 опят пригласила совета ветеранов Нашей бригады 9-го мая тоже спросил всем знакомие ребятам, и вачадзе Архипо дал мне твой Адрес, чут не сумасошол. Заплакал я от радостию, чтобы узнал я что вы жив, моей жизнь Лучшего радост такого ничего небыло, Григорий Яковлевич, меня было твой фото я его в кармане таскал и показывал всем нодо сегодняшнего дня 9-го мая 1986 года я не мог узнат от тебе дорогой Любими григори Яковлевичу, сорок лет прошло мы друг друга не выдали, и не знали... Прошу приехат камне гости Я приму как Радному ещо лучшее. Целую мой хорошие крепко вам и вашего уважаемого семи. Я приехал 10-05-86 года из Кривой Рога и пишу письмо как тебя узнала.» Габриел. М. Джгунджгия.» У Солженицына грузины в лагерях чуть ли не поголовно — в расстрельных командах, расстреливали, приводили приговоры в исполнение. Ну а евреи — на этих и клеймо ставить негде. Зря, зря занялся он этой кровавой арифметикой, она и для его сынов небезопасна.

1-го декабря 1941 года, ночью, в «Волчьем логове», в одной из застольных бесед Гитлер говорил: «Мы не знаем, почему так заведено, что еврей губит народы. Может быть, природа создала его для того, чтобы он, оказывая губительное воздействие на другие народы, стимулировал их активность... Удивительно, что евреи-метисы во втором и третьем поколении зачастую снова вступают в брак с евреями, но природа все равно в итоге отделяет вредоносное семя: в седьмом, восьмом, девятом поколениях еврейское начало уже никак не проявляется и чистота крови, по-видимому, восстанавливается».

Сыновья Солженицына на половину или на четверть, не это суть важно — евреи, жену свою, как писали, он сам крестил, вот такая незадача. Долго, долго ждать придется, пока природа отделит в их потомках «вредоносное семя». Но для современных наших фашистов, внуков убитых на фронте солдат (дедов убили фашисты, а внуки празднуют день рождения Гитлера!), четвертинки, половинки ничего не значат. Один из их вождей заявил недавно, это было процитировано в газете: жаль, жаль, что мы не пропустили немецкие армии до Камчатки, они бы всех евреев у нас уничтожили. Несомненно, победы Гитлер, он бы евреев уничтожил, как выискивали их и уничтожали фашисты по всей Европе и в наших оккупированных областях. Но смешно думать, что ради этого пошел Гитлер на Светский Союз, на Россию, это бы решалось по ходу дела. Главным было: «Моя миссия уничтожить славян!» Он возглашал это и писал не единожды, и был разработан детальный план уничтожения славян, превращения

славян в рабов немецких поселенцев, продуманы меры, в том числе — медицинские, которые должны были неминуемо привести к вырождению славянской нации. Документы эти и на Нюрнбергском процессе были представлены, об этом написано в сотнях книг на многих языках. Точно так же не для того он вел войну с Великобританией, строил подводный флот, строил сверхмощный линкор «Бисмарк», который англичане тут же и потопили, не для того готовил высадку в Англию, чтобы уничтожить английских евреев. Не понимать этого, принимая «историческое исследование», может лишь тот, у кого неприязнь превыше разума. И Солженицын нет-нет, да и подкидывает мыслишку: вас шли уничтожать, а вы не столько на фронте, сколько в тылу сгрудились, там вас было стужено. Но, следуя его логике, действуя его методами, вычитывая постоянно в процентах, можно и так сказать и отдельной строкой выделить: евреи — единственная нация, в которой в ходе Отечественной войны не было предателей. Не было евреев — власовцев, не было евреев — полицаев, карателей. Так что же они святей и превыше всех? Нет, конечно, все слишком понятно. Посмотрел немного главу о лагерях. Есть письмо Копелева Солженицыну от 1985 года, оно напечатано недавно в тринадцатом выпуске альманаха «Апрель». Печатать свою переписку с Солженицыным Копелев при жизни запретил. Вот абзац оттуда: «Особую, личную боль причинило мне признание о «Ветрове». («Ветров» — так Солженицын подписывал или должен был подписывать свои донесения, когда в лагере согласился стать стукачем. *Прим. мое.*) В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в «Круте». А ты скрывал от Мити (Дмитрий Панин, прообраз Соловдина «В круте первом»). *Прим. мое.*) и от меня, скрывал еще годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто, вслед за Якубовичем утверждал, что, значит, ты и впрямь выполнял «ветровские» функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне».

Наивный человек! В друзья записался... Да вы, как все прочие, — средство, взобравшись на пьедестал, подпираемый и подсаживаемый всеми добрыми людьми, не грех об них и ноги вытереть. «Моя душа чиста, — пишет о себе Солженицын все в той же статье «Потемщики света не ищут», — Ни от моих односидчиков на шарашке (ни, кстати, и от Виткевича, там же сидевшего) ни в Особлаге — я никогда не встречал обиды, упрёка или подозрения, но только полное доверие...» Упрекать человека в том, что, попав в сталинские лагеря, в этот ад крошечный, человек хотел выжить, врал, что в мирной жизни был врачом, парикмахером, кем угодно, лишь бы спастись, упрекать в этом бесчеловечно. Вот свидетельствует солагерник Бадаш: «В бригаде Панина ходил зэк-нормировщик, постоянно с папочкой нормативных справочников, — это был Саша Солженицын... В Степлаге, в Экибастузе, придурком был Дмитрий Панин, который пристроил прибывшего А. С. на должность нормировщика. К моменту нашей забастовки и голодовки зимой 1951/1952 года А. С. был уже на придурочной должности бригадира».

А вот и Солженицын сам пишет о себе (Цитата по YMRA-PRESS, 1974): «Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать... Я при перегоне в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву. — с порога же, прямо на вахте соврал, что я нормировщик... Младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун... исподлобным взглядом оценил... мое галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо мое с прямодышащей готовностью тянуть службу, задал пару вопросов о нормировании (мне казалось — я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня Невежин с двух слов) — и уже с утра я на зону не вышел — значит, одержал победу. Прошло два дня и назначил он меня... не нормировщиком, нет, хватай выше! — «заведующим производством», то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров».

Повторяю, нельзя осуждать человека за то, что он спасал свою жизнь, если только не ценой жизни других. И спас, выжил, а не был уничтожен, как миллионы и миллионы, пригнанные на убой. И миру, в итоге, был явлен писатель большого таланта. Но вот — из «Двести лет вместе», из главы «В лагерях Гулага»: «Вскоре затем прислали и провинившегося в МАДИ Бершадера... Лет пятидесяти, низенький, жирный, с хищным взглядом, он обошел и осмотрел нашу жилую зону снисходительно, как генерал из главного Управления. Старший надзиратель спросил его: — «По специальности — кто?» — «Кладовщик». — «Такой специальности не бывает.» — «А я — кладовщик». — «Все равно за зону пойдешь, в разнорабочую бригаду».

Но... «так уверенно держался новичок, что чувствовалось: за ним сила. Угнетенный ходил и кладовщик зоны Севастьянов. Он два года заведовал тут слитным складом продовольствия и вещснабжения, прочно сидел, неплохо жил с начальством, но повеяло на него холодом: все решено! Бершадер — «кладовщик по специальности»!

Да уж не с себя ли это списано, так все совпадает? «Низенький, жирный, с хищным взглядом» Бершадер, отвратительный во всех своих проявлениях, так и рвется с языка — жид, и «прямодышащий», «с готовностью тянуть службу» (и согласился служить, дал подписку) Солженицын — «нормировщик по специальности». «...и уже с утра я за зону не вышел». Почему вдруг перед ним оробели? Почувствовали: «за ним сила»? И назначили «не нормировщиком, нет хватай выше! — «заведующим производством» то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров». И тоже кого-то для него согнали с этой должности, кто до этих пор «прочно сидел, неплохо жил с начальством...» С чего бы вдруг? Звезды ли на небе так расположились или звезды на погонах чекистов? Но сказано в «Архипелаге»: «Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее. Не кинь в него камень!» Это пишет грозный судья всех живущих Солженицын. Вот так на десятый день войны перетрусивший Сталин обратился к своему народу: «Братья и сестры...» А потом этих братьев и сестер — в лагеря за свой позор. Однако, повторяю, не мне, не прошедшему лагерь, допросы, тюрьму, судить. Судить может Шаламов, он прошел самые страшные лагеря, но там от должности бригадира отказался: быть бригадиром, писал он, означало посылать людей на смерть.

Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал неоднократно и писал о том, как в лагере, на Соловках, он случайно узнал, что ночью отберут на расстрел такое-то количество заключенных, и среди них, в списке этом — его фамилия. И он спрятался в дровах, его не нашли, но цифра — закон, количество смертников было определено, и кого-то в эту ночь расстреляли вместо него. Это сопровождало его всю его жизнь.

С таким же чувством возвращались с войны и доживают свою жизнь многие фронтовики, за всех за нас проникновенно и точно сказано у Твардовского:

*Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны,  
В том, что они — кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь, —  
Речь не о том, но все же, все же, все же...*

Наблюдавшему войну издалека Солженицыну чувство это неведомо, если судить по его речам и книгам. Вот тут самое время привести то, что «притекло», как любит выражаться Солженицын, из Брянска. А «притекло» оттуда вот что: статья Ольги Корнеевой, напечатанная в газете «Десница» 16 апреля 2003 года: «Десять лет Николая Дмитриевича». Там она цитирует Дмитрия Виткевича, сына школьного друга Солженицына. Газета малотиражная, но статья есть в Интернет-сети, любой человек в любой стране, владеющий русским языком, может прочесть ее, а у нас Интернетом пользуются уже 10 миллионов человек. Вот, что в этой статье говорит Виткевич: «Я не хочу, чтобы имя моего отца упоминалось рядом с именем Солженицына. В одной и той же ситуации они повели себя абсолютно по-разному, и вовсе не к чести последнего». И пересказано об их школьных годах: «Николай особенно подружился с одноклассниками Кириллом Симоняном и Сашей Солженицыным. В автобиографических записях Виткевича, которые цитировал его сын, сохранилась зарисовка, описывающая, как трое друзей подражали любимым героям Дюма. Есть в ней интересный момент. Роли распределял Симонян, но друзья сразу решили, что д'Артаньяном никто не будет. Так вот Симонян провозгласил: «Ты, Морж (такой была кличка Солженицына в школе), поскольку лицемер, будешь Арамисом. Кока (школьное прозвище Виткевича) станет Партосом, а я Атосом. В нескольких публикациях, где упоминается эта история, слово «лицемер» либо заменено на «хитрый», либо просто отсутствует. И далее в статье газеты: «Фронтовая контрразведка арестовала Солженицына в феврале 1945-го. Виткевич дошел до Берлина... 22 апреля Виткевича тоже арестовали. Перелистывая изъятые письма, (имеется



в виду переписка Солженицына—Виткевича) следователь откровенно сказал: «здесь на 10 лет вполне». Позже он предъявил своему подследственному показания Солженицына, тот сообщал, что Виткевич не только входил в созданную им антисоветскую группу, но и с 1940 года систематически вел антисоветскую агитацию, разрабатывал планы насильственного изменения политики партии и государства. Знакомый почерк не оставлял сомнений, это писал его лучший друг». Впрочем, Солженицын и сам признался, что вел себя на следствии недостаточно стойко, есть ему, о чем сожалеть, хотя нет нигде ни слова о том, что к нему применяли какие-либо насильственные меры.

Но — не будем в это вникать. Что КГБ пыталось опорочить его любыми методами — несомненно. Гораздо интересней, что пишет Солженицын в той же статье «Потемщики света не видят», в ней он решил ответить на все публикации последнего времени за границей и у нас, якобы порочащие его честь и достоинство: «В Архипелаге, и не только в нем, я не щадил себя, и все раскаяния, которые прошли через мою душу — все на бумаге... В этом ряду я не поколебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи и присвоили кличку, хотя я ни разу этой кличкой не воспользовался и ни одного донесения никогда не подал. Я и нечестным считал об этом умолчать, а написать — интересным, имея в виду множественность подобных вербовок, даже и на воле». Но тем не менее умолчал, скрыл от тех, кто считались его друзьями, умалчивал до тех пор, пока КГБ не обнародовало. И вообще, что интересного писать о своем позоре? Не выдержал угроз — да, жизнь спасал — да, но — «интересно»?.. Позвольте усомниться. А то, что сам послал в американскую газету приписываемый или якобы приписываемый ему донос на солагерников, ну что ж, это вполне рассчитанный упреждающий ход, кстати говоря, выгодный одному из «жерженов» той холодной войны, которая велась... Однако главное — дальше: «Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах показать: что можно из человека сделать. Показать, что линия между Добром и Злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. В ЦК и КГБ не только этого уровня понимания нет и не было, но даже нет простого образумления». Нет, не из каждого человека можно сделать что угодно, уж это история человечества доказала. И в то же время, если смотреть не из дней нынешних, а оттуда, из времени страшного, борьба, которую вел Солженицын с целым режимом, а режим этот, вооруженный ракетами и атомными бомбами боялась половина мира, эта борьба требовала не только точного расчета, но и сердца твердого и беспощадного. И, возможно, во имя цели он действительно готов был пожертвовать даже своими детьми: его выслали из страны, а трое сынов его маленьких остались здесь вроде бы в заложниках, и он писал... и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не оставим ни за что». Книга с заглавной буквы, так пишут о Библии, цель и самооценка — грандиозные. Во время минувшей Отечественной войны немцы взяли в заложники детей одного из партизанских командиров, поставив условие: выйдет он из леса, сдастся, они освободят детей. И девочка, дочь его, с божеской мудростью написала отцу, сумела передать записку: папа, не выходи, они все равно убьют и тебя и нас. И он не вышел. И детей убили. Скажу сразу: так поступить я бы не смог. Мне понятней и ближе Януш Корчак, который вместе с детьми вошел в газовую камеру. Это были не его кровные дети, это были его ученики, он имел возможность спастись, ему предлагали, но он не мог оставить детей в час гибели. Это — по-человечески. А сверхчеловеческое оно же нередко и — нечеловеческое. А теперь — о другом. Год 1991-й. В Москве — Путч. Растропович, все бросив, написав только завещание, прилетел защищать Белый дом. Солженицын выжидал, чья возьмет, не вернется ли прошлое. Ну хоть бы слово сказал. Он тогда был подобен легенде, слово его тогда много значило. Нет, постыдно отмогался, живя в Америке. А решалась судьба России. Но он был занят куда более важным делом: «Красное колесо» писал.

А потом спущено было нам «Как нам обустроить Россию». С первого чтения а особенно по прошествии времени само шло на память известное из «Войны и мира»: «Die erste Kolonne marschirt... die zweite Kolonne marschirt... die dritte Kolonne marschirt...» Но и войны и жизнь куда сложнее измышленных диспозиций и респкриптов и «посильных размышлений». Два из трех сына Солженицына пока что обустраивают свою жизнь в Америке, где Россия по-английски — Раша. Это не укор, ни в коей мере не попытка кого-то в чем-то упрекнуть. Каждый вправе выбирать, где ему жить, что больше по душе, где лучше востребованы его способности. Но с «посильными размышлениями» (а емкое слово «посильные»: в нем та скромность,

которая паче гордости, язык не дает соврать, обнажает суть) как-то все это не вяжется, плохо сочетается: вот наставление, уверенно предпосланное целому народу, огромной стране, а вот она реальная жизнь. И еще о жизни, как она есть, по лжи или не по лжи. О Солженицыне уже снято несколько документальных фильмов. Об одном из них в обзоре, в газете Союза кинематографистов «СК Новости», в октябрьском номере 2003 г., написано: «Еще более сложной была задача Сергея Мирошниченко в фильме «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи». Картину начинал другой документалист, который не нашел контакта с писателем, и Солженицын попросил Мирошниченко продолжать работу над проектом. Условия, таким образом, с самого начала диктовал герой. Режиссер, сознавая оказанную ему честь, масштаб личности писателя и ценность предстоящих съемок для кинолетописи России, ничего не имел против, но задачей его было создать портрет героя, а не помочь тому написать автопортрет... «Вермонтский отшельник» в собственной стране выглядит отшельником, который живет в замке за высокой оградой и встречается лишь с высокими гостями (при этом эпизод визита Путина тянет на документальную комедию, а роскошный прием по случаю свадьбы сына словно взят из фильма «Олигарх»»).

В свое время, когда Солженицын еще жил в Рязани и объезжал на велосипеде ближние российские просторы, он писал в одной «Крохотке» (называлась она «Озеро Сегден»), как наткнулся он на заповедную часть леса, куда заложены все дороги, куда «ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя». А живет там (*уточняя: дело происходило еще при советской власти*) «Лютый князь, злодей косоглазый (*непонятно только, почему — «косоглазый»*)... вон дача его, купальня его...» В мечтах ли это носилось, но писал, как оказалось, про себя будущего? Из рук проклинаемой им ельцинской власти, она Россию разорила, получил он, не побрезговав, поместье под Москвой, некогда принадлежавшее купцам Корзинкиным, потом — палачу Абакумову, а теперь он там, на просторе и воздвиг вышеупомянутый «замок», и нет туда хода ни пешему, ни конному, ни велосипедисту, и «идти нельзя, и ползти нельзя». Вот такова она «Жизнь не по лжи».

Еще задолго до юбилея в «Известиях», на двух полосах со многими фотографиями появилась статья: «Сержант Соломин и капитан Солженицын». Спустя почти шесть десятков лет разыскали в Америке еврея, сержанта Соломина, он во время войны служил в звукобатарее, которой командовал Солженицын: потребовалось засвидетельствовать, что Солженицын благоволил к нему, посылал в Ростов за женой, за Натальей Решетовской, по подложным документам привезти ее на фронт, и он, Илюша, все выполнил. Если статья с определенной целью организована, то прием очень уж стародавний: «Я антисемит? Да у меня вот друг — еврей!...»

О чем же свидетельствует сержант Соломин? Призванный в армию еще до войны, воевавший с 41-го года, он после ранения, попал в начале 43-го года в звукобатарею, которой командовал Солженицын. Но надо разъяснить, что такое была эта звукобатарея и где она находилась. По понятиям фронтовиков, находилась она в глубоком тылу. Соломин указывает: 1,5—2 километра от передовой. Нет, значительно дальше, сам Солженицын признает: 3 километра. Вот туда-то «сверхусильным напором» и переместился он из конского обоза. Обычно находилась она при штабе. «Это действительно тогда был очень несовершенный род войск. Координаты, которые мы давали, иногда совпадали, иногда нет, многое зависело от метеорологии, других вещей... Помню, мы ходили в штаб соседней пушечной бригады,.. Солженицын договаривался, что будет давать наши данные и им — по собственной инициативе. Я потом сам относил в штаб Ткаченко бумаги».

Словом, безвредный, но и совершенно бесполезный, сохранившийся с довоенных времен род войск, который как-то надо было приставить к делу, вот и ходили предлагать свои услуги командиру бригады *пешком*, т. е. пули тут не свистали. Я, например командира нашей 115-ой артиллерийской бригады полковника Борисенко не удостоился видеть на фронте ни разу: от нас до него, было, как до Господа Бога, впервые увидел его после войны, в Болгарии, там мы тогда стояли. Командира полка нашего видел на фронте. Вдруг вызвали меня с плацдарма днем. Где — ползком, где — перебежками добрался до берега, на лодке переплыл Днестр, а уже на этой стороне — командный пункт командира дивизиона. И здесь же у него — командир полка, полковник Комардин, приехал с проверкой. Навел он на цель перекрестие стереотрубы: «Рощу «Огурец» видишь? На опушке — немецкая батарея. Три снаряда, открывай

огонь!» Была там, в роще «Огурец», или не было немецкой батареи, по моим данным никакой батареи там не было, но третий снаряд лег на опушку рощи. Дело это не такое уж сложное: был у меня пристрелянный репер, от него и выводишь снаряд на цель. Плюс — удача. И стало у меня на погонах вместо одной маленькой звездочки — младший лейтенант — по две: лейтенант. И еще видел его в Венгрии, зимой, на нас танки шли. А он бежал на пятую батарею, проваливался в снег, падал, снова бежал, грозил издали кулачищем, матерился: почему, мол, медлят открывать огонь... Смелый был мужик, полковник Комардин. Но это — так, к слову. А вот на прямой вопрос, где располагалась солженицынская звукобатарея: «*Это был ближний тыл или фронт?*» — Соломин отвечает: В боях батарея участия не принимала, у нас была другая задача.

*Солженицыну выпадало в боях участвовать?*

— Я же сказал — у нас были другие задачи. Я не помню, чтобы он непосредственно в боях участвовал, в бою пехота участвовала. А мы — только когда обстоятельства складывались. В окружении например. Об этом окружении, из которого Солженицын якобы вывел батарею, и сам он писал, и в прессе писали неоднократно. Послушаем рассказ Соломина, непосредственного участника события:

В январе 45-го Второй Белорусский фронт сделал стремительный марш-бросок и у Балтийского моря отрезал крупную немецкую группировку, очень крупную. Эсэсовцы там оказались, бронетанковые части... Они перегруппировались и начали пробиваться. А цельная линия фронта еще не успела сложиться, в результате звукобатарея попала в клещи. Александр Исаевич связался со штабом, просил разрешения отступить. Ответили — стоять на смерть. Тогда он принял решение: пока есть возможность — вывезти батарейную аппаратуру (это поручил мне) а самому остаться с людьми. Дал мне несколько человек, мы все оборудование погрузили в грузовик. Прорывались среди глубоких, по пояс, снегов, помню, как лопатами разгребали проходы, как машину толкали... Добрались до деревни Гроссгерманафт, там был штаб дивизиона».

Здесь важна каждая подробность, а подробности точны. «Прорывались» сквозь глубокий снег, разгребали его лопатами. Но не из окружения прорывались: ни одного немца по дороге не встретили, никто в них не стрелял, ни в кого они не стреляли. В дальнейшем их построили в колонну (видимо, вместе с кем-то еще) и отправили в штаб корпуса, то есть еще дальше в тыл. И опять же никаких немцев на пути. Так было ли окружение? Но — дальше: «Добрались мы до штаба корпуса. И там у машины меня вдруг обнял человек высокого роста — я и не понял сразу, что это Александр Исаевич: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!» Это каким же макаром? Солженицыну приказали «стоять насмерть», а он раньше других оказался в глубоком, по фронтовым понятиям, тылу, в штабе корпуса. Естественен вопрос интервьюера:

*А он где был в это время?*

С личным составом. Мы расстались, когда они занимали круговую оборону. Но потом пришел приказ из штаба дивизиона — выходить из окружения. Как выпутались — не знаю, сам с ними не был. Но Солженицын ни одного человека не потерял, всех вывел.

Соломин вообще о своем командире батареи вспоминает доброжелательно, отмечает его ученость и т. д., но вот этой части рассказа можно верить, а можно и не верить, поскольку «не знаю, сам с ними не был».

Пробиться с боем из окружения, если это — окружение, не потеряв из батареи ни одного человека, практически невозможно. Целые армии наши оставались в плену, а сколько погибло, прорываясь, — не счесть. Так было ли окружение, повторю свой вопрос?

И что означал этот внезапный эмоциональный порыв, это объятие: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!» Фронтовое братство, не знавшее чинов? Но тот же Соломин на вопрос: «У Солженицына с солдатами какие были отношения?» отвечает: «Я бы не сказал, что он плохо к солдатам относился. Просто Александр Исаевич себя держал так... на отдалении от всех». Этот порыв у не склонного к эмоциям человека был не случаен. И тут я опять сошлюсь на собственный опыт. Город Секешфехервар в Венгрии мы брали и отдавали и снова брали, бои были очень тяжелые. И вот по приказу наша батарея, понеся потери, выходила из города ночью, снарядов уже не было. И встретились нам артиллеристы, которых отправили обратно в город. Они оставили свои пушки, будто бы сняв с них замки, они спрашивали нас, где немцы, где немецкие танки? (Частично я написал об этом в повести «Южнее главного удара»).

Командир полка приказал их комбату идти обратно и без пушек не возвращаться. По фронтовым законам командир полка мог отдать его под трибунал, но он отправил их туда, где остались их пушки. Они шли почти на верную смерть.

Если бы Соломин не вывез батарейную аппаратуру, то командира батареи, Солженицына, могли отправить под трибунал: сам вышел, а матчасть бросил. Вот отсюда — *«по гроб жизни благодарен»*. Да что-то эта благодарность ни в одной из его книг до сих пор не прорезалась. Может, потому, что пришлось бы тогда и про себя всю правду рассказать? Впрочем, есть свидетельство самого Солженицына: его повесть «Аддиг Швенкиттен»: «о боях в Восточной Пруссии; о выводе моей батареи из окружения в ту ночь», — пишет Солженицын. Подзаголовок — «суточная повесть». Подавали бывало и в харчевнях и в ресторанах суточные щи, знатоки особенно ценили их. Но «суточная повесть»... Это, видимо, какой-то новый литературный жанр, проще сказать — литературная разблюдовка. Ну, да хоть горшком назови... А написана повесть так слабо, так примитивно (но не без изысков: «рыгнуло орудие»), что поверить невозможно, что это писал тот же человек, который когда-то написал «Матренин двор». Впрочем, ничего неестественного тут нет. Еще Голсуорси отмечал: с годами чернила в чернильнице густеют. Этому подвержены многие писатели, исключая, разумеется, гениев. Лев Толстой под конец жизни, уже решив твердо не писать «художественное», все же не смог удержаться, написал повесть «Хаджи Мурат», которой в этом году исполняется столетие. Надо полагать, столетие отмечать не будут: она сегодня еще более злободневна, чем в ту пору, когда он ее создавал. Но у нас не про Толстого речь, совсем не про Толстого: масштабы иные. А для начатого разговора важно не то, что повесть написана примитивно, а то, что написана она не из боя, не непосредственным участником, это сразу чувствуется, а с достаточно большого отдаления от места действия. Потому так все и не зримо. И никакая звукобатарея там и близко не присутствует, ничего про нее нет. Но вот в списке представленных к награде, который приведен в конце повести, «звуковик», т. е. командир звуковой батареи, тут как тут. «За успешный же вывод батареи из окружения 27 января 1945 года в Пруссии я был представлен и к ордену Красного Знамени, как еще несколько наших бригадных офицеров — но 9 февраля настиг меня арест — и меня успели вычеркнуть из наградного списка», — пишет он в той же статье «Потемщики света не видят». Это пишет восьмидесятипятилетний человек, отмеченный всеми мыслимыми знаками отличия, пишет, что за свое присутствие на войне он что-то еще недополучил... Соломин случайно оказался свидетелем его ареста: «Капитан Солженицын? Вы нам нужны. Он к ним подошел. Дальше какой-то короткий тихий разговор и потом: «Проедемте на КП бригады». Выходят. Я следом. Во дворе «эмка». Садятся, уезжают. Не знаю, что меня толкнуло, но я почему-то сразу понял: это — «СМЕРШ» и дело политическое. Побежал к батарейной грузовой машине — знал, что там, в кузове, лежит черный снарядный ящик, в котором Солженицын держал свои записи и книги. Ящик схватил, отнес в лес и содержимое стал быстро переключивать в свой вещмешок. Вещмешок был со мной все время, после войны я все, что тогда спрятал, отдал Наташе».

Ну, знаете, на это не каждый бы решился, «СМЕРШ» витал над нами, как смерть черная, он и учрежден был Сталиным для того, чтобы свои боялись своих больше, чем врага. «Илюша тогда, по сути, спас Исаича. Он успел спрятать (или частично уничтожить) личные записи, книги, в том числе и трофейные, которые Исаич из любопытства подбирал. Если бы это попало в руки следователя, еще вопрос, как бы все повернулось». Это свидетельствует двоюродная сестра его первой жены Натальи Решетовской, которой Соломин отдал после войны вынесенные им и сбереженные бумаги. Бумаги сберег, себя не уберег: вслед за своим командиром угодил туда же, в ГУЛАГ.

Естественно, что интервьюер спросил Соломина: «В одной книге про вас пишут, что вы были ординарцем Солженицына».

— Ординарцем я не был, характер неподходящий. Ординарцем у Солженицына был Захаров, из Ташкента. Он Исаичу и лейтенанту Овсянникову готовил».

Тут только руками разведешь: с удобствами пребывал на фронте капитан Солженицын. Жену привезли: «Вы же поймите: война, — оправдывает его Соломин, — мужчины четыре года женщин не видят...» Что ели солдаты, он, «отец-командир», не ел, ему ординарец отдельно готовил. Это насколько же надо не считать за людей вверенных тебе солдат, чтобы брезговать есть то, что они едят. А ведь среди них были Иваны Денисовичи, не в книге, в жизни. И

они все это видели, знали. И не стыдно. «Просто Александр Исаевич держал себя на отдалении от всех».

«Сержант Соломин и капитан Солженицын». Соломин воевал с первых дней, дважды ранен, брат убит на фронте, мать, отца, сестренку немцы уничтожили в Минске, как уничтожали всех евреев. Солженицын призван в армию (повторим: не сам добровольцем пошел защищать родину, военкомат призвал исполнить долг мужчины и гражданина) аж в октябре 41-го года. Немцы уже подходили к Москве, судьба России решалась, он продолжал преподавать детям математику в школе, в глубоком тылу. И когда под Сталинградом шли бои, там по нынешним подсчетам погибло у нас более двух с половиной миллионов человек, он все еще был в тылу, в обозе, во втором или даже в третьем эшелоне. И вот этот человек судит, кто воевал, кто не воевал. Ну, да хватит. Каюсь: и я поначалу помогал творить из него кумира, хотя, разумеется, главный творец он сам. Я уже и тогда кое о чем начинал догадываться, но гнал, гнал от себя дурные мысли. У Твардовского есть в «Рабочих тетрадах» про то, что я и другую сторону этого человека видел, мы о многом говорили откровенно. Но талант и человеческие качества вовсе не всегда в одном сосуде, и великие в обыденной жизни бывали далеко не ангелы. Если б только об этом речь! Никогда в период гонений я не сказал и не подписал ни единого слова против Солженицына, а вымогали это различными способами. Нет у меня и теперь намерения «опорочить его как личность». Да и никто не способен это сделать так, как делал на протяжении лет и сделал он сам: литература — опасный род занятий, пишешь про кого-то, а сам ты виден на просвет. Интересное совпадение, между прочим: у человека, призвавшего жить не по лжи, в самом корне фамилии — ЛЖЕ. СоЛЖЕницын. Впрочем, все это уже — прошлое. Холодная война, будем надеяться, кончилась. Устарело в значительной степени и ее орудие.